

*Посвящается
Дидье Дорá*

I

Холмы под крылом самолета уже врезáли свои черные тени в золото наступающего вечера. Равнины начинали гореть ровным, неиссякаемым светом; в этой стране они расточают свое золото с той же щедростью, с какой еще долгое время после ухода зимы льют снежную белизну.

И пилот Фабьен, который с крайнего юга, из Патагонии, вел почтовый самолет на Буэнос-Айрес, узнавал о приближении вечера по тем же приметам, по которым он различал воды в гавани: по спокойствию, по легким складкам, что едва вырисовываются на тихих облаках. Фабьен словно выходил на бескрайний, безмятежный рейд.

Порой в этой тишине ему начинало казаться, что он совершает неторопливую прогулку, что он — пастух. Пастухи Патагонии бредут не спеша от стада к стаду; Фабьен шел от города к городу — он пас эти маленькие городишки. Он встречал их каждые два часа; города приходили на водопой к берегам рек или щипали траву на равнинах.

Иногда, после сотен километров степей, более безлюдных, чем море, он пролетал над уединенной фермой;

казалось, она плывет ему навстречу по волнам прерии и несет на себе груз человеческих жизней. И, покачивая крыльями, Фабьен приветствовал этот корабль.

«Показался Сан-Хулиан; через десять минут пойдем на посадку».

Бортрадист передал это сообщение по всей линии.

На две с половиной тысячи километров, от Магелланова пролива до Буэнос-Айреса, растянулись цепью посадочные площадки; все они похожи друг на друга, но за этим аэродромом начиналась ночь; так в Африке, за последним покорным селением, проходит граница неведомого.

Радист передал пилоту записку:

«Вокруг бушуют грозы, у меня в наушниках сплошные разряды. Может, заночуем в Сан-Хулиане?»

Фабьен улыбнулся; небо спокойно, как вода в аквариуме, и все аэропорты впереди по пути следования общаются: «Небо чистое, полное безветрие». Он ответил:

— Полетим дальше.

А радист думал о том, что где-то, как черви внутри плода, притаились грозы; ночь казалась прекрасной, но кое-где начинала подгнивать, и ему было противно погружаться в этот мрак, скрывающий в себе гниль и разложение.

Сбавляя над Сан-Хулианом газ, Фабьен ощутил усталость. Все, что делает жизнь людей приятной: дома, небольшие кафе, аллеи, — все это росло, надвигаясь на него. Он был подобен завоевателю, который вечером, после победы, вглядывается в земли завоеванного края и обнаруживает скромное счастье людей. Фабьену хотелось сбросить с себя доспехи, ощутить тяжесть усталого тела — ведь и в тяготах есть своя отрада — и оказаться простым человеком, созерцающим в окно своего дома неизменный, застывший пейзаж. Фабьен остановил бы

свой выбор на этом случайном крохотном городке, а выбрав — полюбил бы его, полюбил бы размеренность его существования. Жизнь в таком городке — словно любовь — умеряет порывы. Хорошо бы поселиться здесь надолго, получить здесь свою долю вечности. Фабьену казалось, что городки, где он останавливался на час, и сады, обнесенные старыми стенами, существуют вечно, безразличные к его, Фабьена, жизни. И городок поднимался навстречу экипажу, принимая его в свои объятия. И Фабьен думал о дружбе, о ласковых девушках, об уюте и тепле белой скатерти — обо всем, с чем человек сживается постепенно и навсегда. Городок бежал уже под самыми крыльями, выставляя напоказ тайны своих садов: ограды не служили им больше защитой. Но, приземлившись, Фабьен понял, что ровно ничего не увидел, кроме ленивых движений нескольких человек среди принадлежавших им камней. Городок самый неподвижностью оберегал от постороннего глаза секреты своих привязанностей, он отказывал Фабьену в ласке: для того чтобы завоевать этот городок, надо было отречься от действия.

Десять минут — и снова в путь.

Фабьен обернулся и посмотрел на Сан-Хулиан; теперь это была лишь горстка огня; потом она превратилась в пригоршню звезд и, поманив его еще раз, рассеялась пылью.

«Уже не видно приборов, надо включить свет».

Он прикоснулся к контактам; но свет красных лампочек кабины расплывался в голубоватом сиянии сумерек и не освещал циферблатов. Фабьен поднес руку к лампочке — пальцы почти не окрасились.

«Слишком рано».

А ночь поднималась темными клубами дыма и заполняла лощины. Впадины долин уже сливались с равнинными просторами. В деревнях загорались огни; их созвездия перекликались во мраке, и Фабьен, мигая

бортовыми огнями, отвечал огонькам деревень. Всю землю обволокла сеть манящих огней: каждый дом, обратясь лицом к бескрайней ночи, зажигал свою звезду; так маяк посылает свой луч во тьму моря. Искры мерцали всюду, где жил человек. Самолет входил сегодня в ворота ночи, как суда входят на рейд, — легко и плавно. И Фабьен был счастлив.

Он нагнулся к приборной доске. Стрелки уже начинали фосфоресцировать. Проверил показания приборов — и остался доволен. Итак, он сидит в небе прочно. Тронув пальцем стальной лонжерон, он ощутил в металле пульсацию жизни; металл не дрожал — он жил. Пятьсот лошадиных сил, впряженных в мотор, породили в недрах вещества легчайшие токи — холод металла преобразился в бархатистую плоть. Пилот снова ощутил теперь в полете не головокружение, не хмельную радость, но лишь таинственную работу живого организма.

Теперь, создав свой собственный мир, он мог устроиться в нем поудобнее.

Фабьен постучал по распределительному щиту, проверил один за другим все контакты, немного поерзал на месте и уселся покрепче, пытаясь отыскать наиболее удобное положение, чтобы чувствовать малейшее колебание пяти тонн металла, которые взвалила себе на плечи зыбкая ночь. Потом ощупал запасную лампу, поставил ее на место, отпустил и снова взял, убедился, что она не скользит, опять отпустил и опять нашел ее, проверил на ощупь каждую рукоятку, каждый рычаг, убеждаясь, что может схватить их сразу и наверняка, приучая свои пальцы действовать в мире слепоты. Потом, когда пальцы усвоили это, он разрешил себе включить свет — и кабина сразу же украсилась точными приборами; теперь он мог следить за погружением самолета в ночь по одним только циферблатам. И поскольку ничто не дрожало, не колебалось и не вибрировало, поскольку и гироскоп, и высотомер, и режим мотора — все

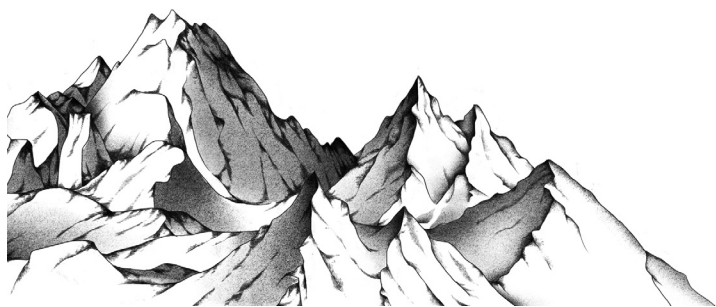




оставалось стабильным, он потянулся, прислонился к кожаной спинке кресла и погрузился в полет, в глубокое раздумье, таящее необъяснимую сладость надежды.

И теперь, неся в самом сердце ночи свою сторожевую вахту, он обнаружил, что в ночи раскрывается перед ним человек: его призывы, огни, тревоги. Та простая звездочка во мраке — это дом, и в нем — одиночество. А та, что погасла, — это дом, приютивший любовь...

Или тоску. Дом, который не шлет больше сигналов всему остальному миру. Облокотясь о стол, сидят у лампы крестьяне и лелеют в душе смутные, им самим неведомые надежды; этим людям и неведомек, что помыслы их летят так далеко во мраке сомкнувшейся над ними ночи. Но Фабьен слышит их, когда, пролетев тысячу километров, он чувствует, как волны, взнесенные из бездонных глубин, поднимают и опускают его самолет, в котором пульсирует жизнь; он пробился — как сквозь десять войн — сквозь десять гроз, прошел по лужайкам лунного света, что пролегли между грозами, и вот, победитель, достиг наконец этих огней. Людям кажется, что лампа освещает только их скромный стол; но свет ее, пролетев восемьсот километров, уже достиг кого-то — как призыв, как крик отчаяния с пустынного, затерянного в море островка.



II

Итак, три почтовых самолета — из Патагонии, из Чили и из Парагвая — возвращались в Буэнос-Айрес с юга, запада и севера. В Буэнос-Айресе почту должны были погрузить в самолет, который около полуночи отправлялся в Европу.

Трое пилотов летели, затерянные в ночи, размышляли о полете и, держа курс на огромный город, медленно спускались со своих грозных или мирных небес, как спускаются с гор крестьяне.

Ривьер, директор сети воздушных сообщений, шагал взад и вперед по посадочной площадке буэнос-айресского аэропорта. Он был молчалив: ни один из трех самолетов еще не приземлился — и день продолжал таить в себе опасность. Но приходили телеграмма за телеграммой, и Ривьер ощущал, как с каждой минутой сокращается область неведомого и он, вырывая что-то из лап судьбы, вытягивает экипажи самолетов из ночи на берег.

Подошел служащий и передал Ривьеру радиограмму:

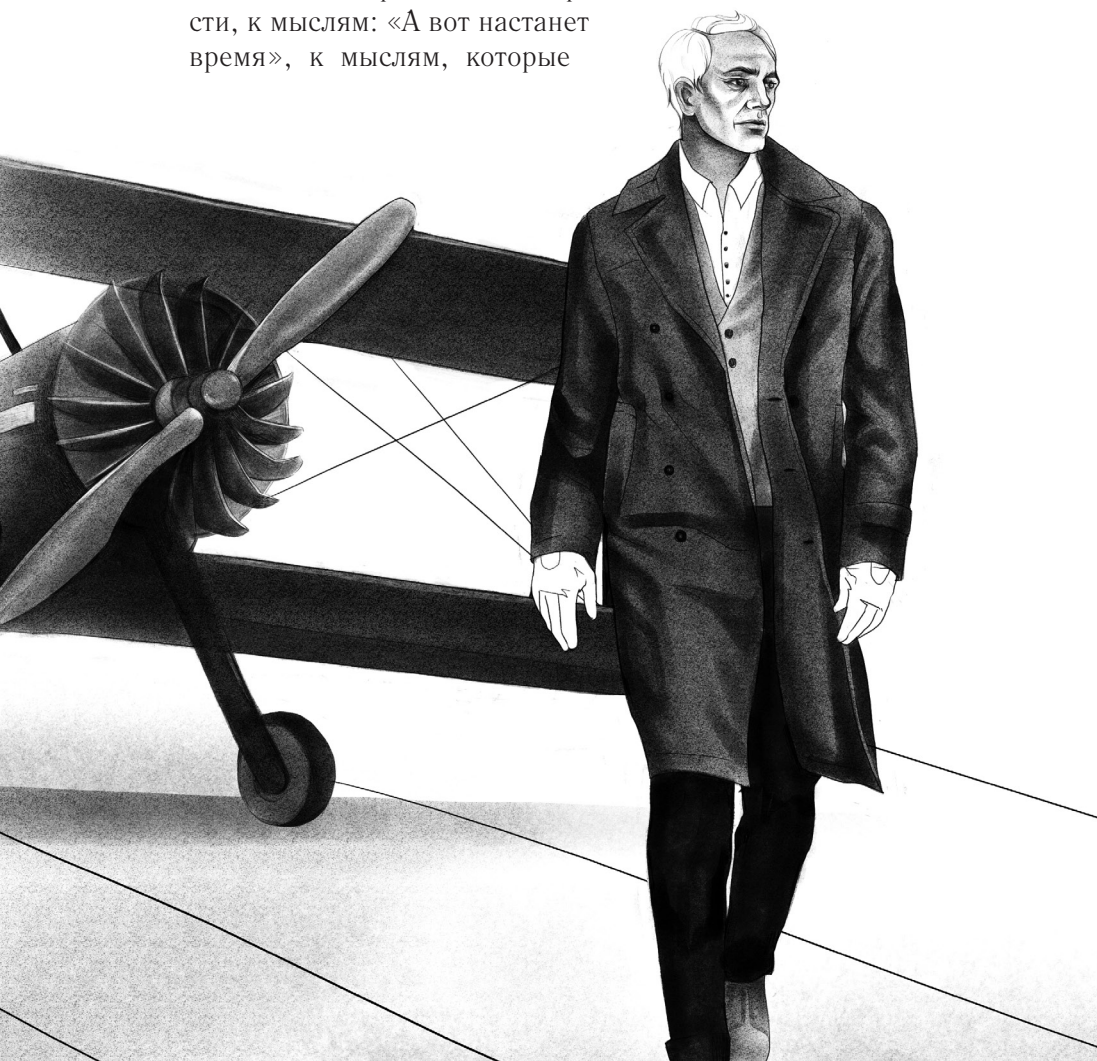
— Почтовый из Чили сообщает, что видит огни Буэнос-Айреса.

— Хорошо.

Скоро Ривьер услышит гул мотора; ночь уже отдает ему один самолет; так приливы и отливы моря, полного тайн, выбрасывают на берег соковище, которое долго качалось в волнах. А вскоре ночь вернет ему и два других самолета.

Тогда этот день завершится. Тогда усталые команды отправятся спать и свежие команды придут им на смену. Но Ривьер не сможет отдохнуть: настанет черед тревоги за европейский почтовый. И так будет всегда. Всегда. Впервые этот старый боец с удивлением почувствовал, что устал. Прибытие самолетов никогда не явится для него той победой, которая завершает войну и открывает

эру благословенного мира. Это будет всегда лишь еще одним шагом, за которым последует тысяча подобных шагов. Ривьеру казалось, что он держит на вытянутой руке огромную тяжесть, держит долго, без отдыха, без надежды на отдых. «Старею...» Должно быть, он стареет, если душа его требует какой-то иной пищи, кроме действия. Странно, такие мысли никогда еще его не тревожили. Задумчиво журча, к нему подступали волны доброты и нежности, которые он обычно гнал от себя, — волны безвозвратно утраченного океана. «Значит, все это так близко?..» Да, незаметно и постепенно пришел он к старости, к мыслям: «А вот настанет время», к мыслям, которые



так скрашивают человеческую жизнь. Будто и на самом деле в один прекрасный день может «настать время» и где-то в конце жизни достигнешь блаженного покоя — того, что рисуется в грезам!.. Но покоя нет. Возможно, нет и победы. Не могут раз навсегда прибыть все почтовые самолеты...

Ривьер остановился около старого механика Леру, возившегося у самолета. Как и Ривьер, Леру работал уже сорок лет. Он отдавал работе все свои силы. Когда в десять вечера или в полночь Леру приходил домой, перед ним не открывался какой-то другой мир; возвращение домой не было для него бегством. Ривьер улыбнулся этому человеку с грубым лицом; механик кивнул на отливающую синевой ось: «Она была слишком туго закреплена, я исправил». Ривьер наклонился к оси. Он снова вернулся к служебным заботам. «Нужно будет сказать в мастерских, чтобы подгоняли эти штуки по-свободнее». Потрогав пальцем царапины на металле, Ривьер опять внимательно посмотрел на Леру, на его суровое морщинистое лицо. С языка сорвался странный вопрос, и сам Ривьер улыбнулся, задавая его:

— Скажите, Леру, в своей жизни вы много времени потратили на любовь?

— О, любовь, господин директор... знаете ли...

— Вам, как и мне, всегда не хватало времени...

— Да, не очень-то хватало...

Ривьер вслушивался в его голос, пытаясь понять, звучит ли в ответе горечь; но горечи не было. Оглядываясь на прожитую жизнь, этот человек испытывал спокойное удовлетворение столяра, отполировавшего великолепную доску: «Вот и все! Готово!»

«Вот и все! — подумал Ривьер. — Моя жизнь тоже готова!»

Он отогнал грустные мысли, навеянные усталостью, и направился к ангару: чилийский самолет уже гудел в воздухе.

III

Отдаленный гул мотора наливался, густел. Зажглись посадочные огни. Красные фонари ночного освещения вычертили контуры ангара, радиомачт, квадратной площадки. Все приняло праздничный вид.

— Вот он!

Самолет уже катился по земле в лучах прожекторов. Он так сверкал, что казался совсем новым. Вот он остановился наконец перед ангаром; механики и подсобные рабочие устремились к нему, чтобы выгрузить почту, но пилот Пельрен не шевелился.

— Эй! Чего вы ждете? Выходите!

Занятый каким-то таинственным делом, пилот не отвечал. Вероятно, он прислушивался к еще не угасшему в нем шуму полета. Он медленно покачал головой, нагнулся и стал что-то ощупывать внизу. Наконец выпрямился, обернулся к начальству, к товарищам и обвел их серьезным взглядом, словно осматривая свое достоинство.

Казалось, он пересчитывает, измеряет, взвешивает. Он честно заслужил все это: и дружескую встречу, и праздничное убранство ангара, и прочность цемента, и там, вдали, город с его движением, с его женщинами, с его теплом. Теперь он крепко держал людей в широких ладонях, держал своих подданных: он мог их осязать, слышать, мог обругать их. Да, сначала он даже решил обругать их за то, что они так спокойны, уверены в своей безопасности — стоят и любуются луной. Но он сменял гнев на милость:

— За выпивку платите вы...

И вылез из кабины.

Ему захотелось рассказать о том, что он пережил в полете.

— Если б вы только знали!..

Считая, видимо, что этим все сказано, он принялся стаскивать с себя кожаную куртку.

Когда автомобиль уносил Пельрена вместе с хмурым инспектором и молчаливым Ривьером к Буэнос-Айресу, пилоту взгрустнулось. Конечно, что́ может быть приятнее — выпутаться из беды и, обретя под ногами твердую землю, отпускать без зазрения совести сочные ругательства. Куда как весело!.. И все же, как вспомнишь, становится не по себе.

Сражение с циклоном — это, по крайней мере, нечто реальное, откровенное. Иное дело — облик вещей, когда им кажется, что они одни.

«Будто в дни восстания, — подумал Пельрен, — лица людей только чуть бледнеют — но как все кругом меняется!»

Усилием воли он заставил себя вспомнить о пережитом.

Мирно летел он над Андийскими Кордильерами. Здесь царила великая тишина снегов. В это нагромождение вершин снег внес покой — как вносят его века в мертвые старинные замки. На две сотни километров — ни души, ни малейшего признака жизни, ни одного живого движения. Только отвесные кручи, что вздымаются до шести тысяч метров, только каменные одежды, спадающие вниз прямыми складками, только грозное спокойствие вокруг.

Это произошло вблизи пика Тупунгато...

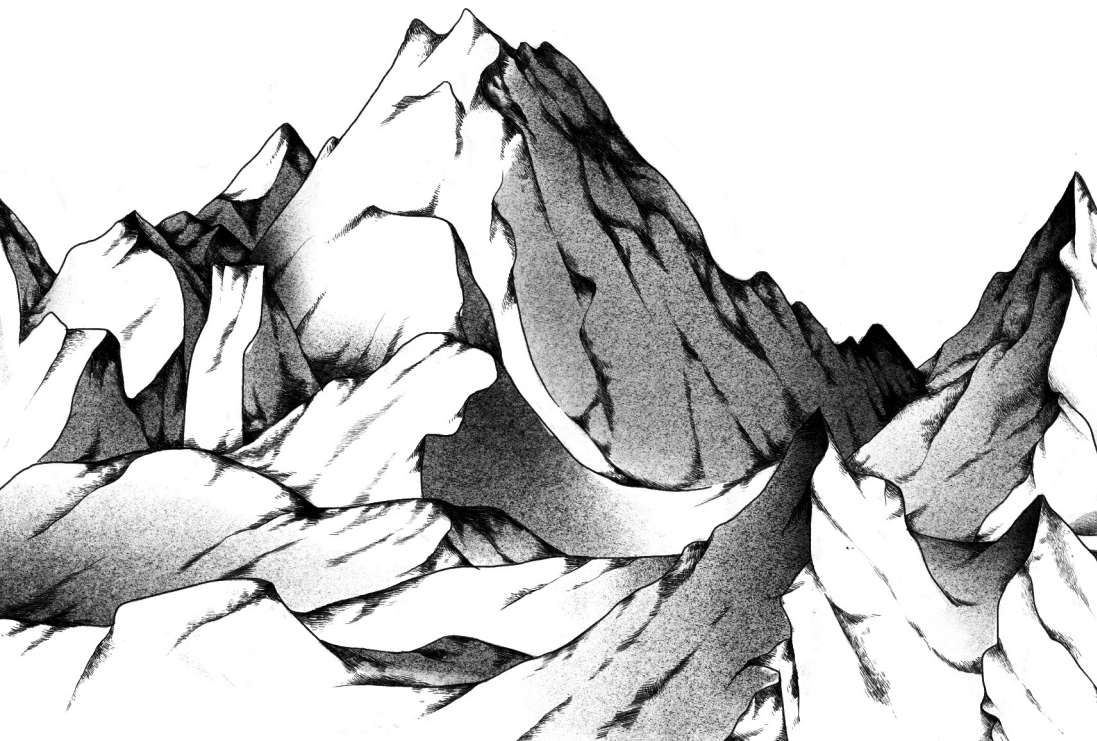
Пельрен задумался. Да-да, именно там стал он свидетелем чуда.

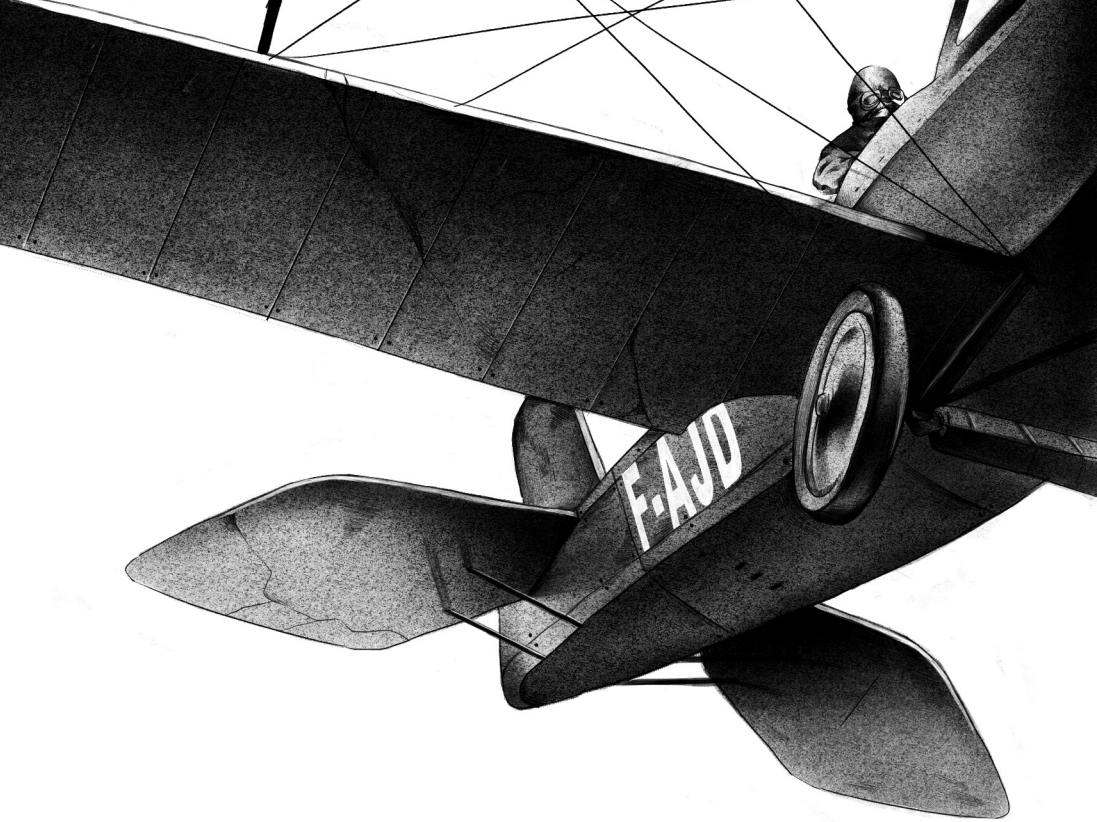
Сначала он ничего не увидел, только ощутил смутное беспокойство. Как человек, который думал, что он один, и вдруг чувствует: нет, он уже не один, кто-то на него смотрит. Так и Пельрен — слишком поздно и не понимая еще что к чему — ощутил, что вокруг него смыкается кольцо гнева. Вот и все. Откуда вырывался этот гнев?

И как угадал пилот, что гнев источают и камни и снега? Ведь, казалось, ровно ничего не произошло; не было и тени наплывающей бури. Но у него на глазах рождался иной мир, чем-то неувовимо отличавшийся от привычного. С необъяснимой тоской смотрел человек на вершины, выглядевшие так простодушно, на снежные гребни, почти такие же белые, как обычно. Все это медленно оживало — как народ.

Пельрен еще не вступил в борьбу; он крепко стиснул штурвал. Готовилось нечто, чего он не мог понять. Точно зверь перед прыжком, напрягал он мускулы, — но все, что он видел перед собой, было спокойно. Да, спокойно, — но в этом спокойствии таилась странная мощь.

Потом все вдруг заострилось. Гребни и пики стали внезапно острыми; пилот почувствовал, что они, как форштевни, рассекают упругую грудь ветра. Потом ему





стало казаться, что они кружатся вокруг него и разворачиваются, готовясь к бою, будто огромные корабли. Затем в воздух поднялась пыль; она летела над снегами и легко, словно парус, колыхалась на ветру. Тогда, пытаясь нащупать путь, на случай если придется отступить, Пельрен посмотрел назад — и содрогнулся: Кордильеры пришли в волнение.

— Теперь мне крышка.

Впереди остроконечная вершина, словно вулкан в миг извержения, выбросила столб снежной лавы. Потом фонтан снега взвился над другим пиком, немного правее. И вот стали вспыхивать все пики: казалось, их зажигает один за другим невидимый факельщик.

